

DOI 10.18522/2415-8852-2021-1-18-34

УДК 821.112.2(436)

**«ЧЕЛОВЕК БЕЗ СВОЙСТВ» РОБЕРТА МУЗИЛЯ
В ИНТЕРКОНТЕКСТУАЛЬНОМ ПРОЧТЕНИИ****Александр Васильевич Белобратов**

кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия)

e-mail: austrianlibr@hotmail.com

Аннотация. Анализ процесса активной рецепции, взаимодействия «своего» и «чужого» представляется весьма плодотворным при изучении эпохального романа Роберта Музиля «Человек без свойств» (1930–1942). Аналитическая оценка соприкосновения австрийского автора с «чужим» (в данном случае – с русской литературной классикой) в форме обнаружения в нем «своего» осуществляется на микроуровне отдельных понятий, выражений, характеристики персонажей и прямых или скрытых цитат. При этом интертекстуальный уровень прочтения романа расширяется за счет интерконтекстуального уровня, и, таким образом, интерпретация иноязычного текста осуществляется с учетом тех контекстов, которые интериоризованы в собственной культуре интерпретатора, т. е. литературный текст прочитывается из перспективы культурной референциальной рамки иноязычного (русского) читателя. Речь идет о попытке узнавания читательского «своего» в «чужом», о реинтерпретации иноязычного текста, когда, с одной стороны, «свое», т. е. в данном случае произведения русских романистов XIX столетия, подвергается проверке относительно его восприятия австрийским писателем как «чужого», а, с другой стороны, музильевский роман прочитывается сквозь призму русского культурного опыта, включается в контекстуальную рамку русской рецепции, сформированную произведениями Гончарова, Достоевского, Л. Толстого.

Ключевые слова: Роберт Музиль, австрийская литература, роман, интерконтекстуальность, компаративистика, рецепция.

В транслятологических штудиях двух последних десятилетий не раз обсуждалась возможность и потенциальная плодотворность «многоголосого» чтения текста, т. е. подход к иному, чужому в литературных произведениях на основе сопоставления исходного текста с его переводом или переводами на другие языки. П. Утц, в своем исследовании «прочитавший» эпохальный роман австрийского писателя Роберта Музиля (1880–1942) «Человек без свойств» (1930–1942) из перспективы его «неповторимого родства» с его французским и английским переводами, сформулировал эту проблему следующим образом:

«Под ними [этими переводами – А. Б.] мы понимаем наше собственное отчужденное восприятие романа, мы понимаем наше не-понимание. Ибо переводы обращаются к нам, читателям, находящимся на своем месте и в своем времени; переводы формулируют те ожидания, которые вписаны в текст романа, с тем, чтобы роман мог шагать по верх этих ожиданий» [Utz: 238].

Утц именует этот подход «сопоставительным прочтением перевода», поскольку «переводы как способ прочтения формулируют на иностранном языке то, какое ожидание

понимания вписано в сам текст» [Utz: 240]. Интерпретационный результат в случае подобного подхода может оказаться весьма плодотворным, хотя по поводу тех вариантов микроанализа музиевского незавершенного романа, который осуществляет П. Утц, возникают некоторые сомнения в ценности полученных результатов, в частности, при анализе «бессвойственности», одной из центральных категорий в музиевском тексте [Utz: 259]. И все же именно переход культурных границ, взаимодействие своего и чужого представляется весьма плодотворным для анализа текста. При этом следует подчеркнуть, что соприкосновение с чужим в форме приятия его как своего осуществляется не только на микроуровне отдельных понятий, выражений, характеристики персонажей и прямых или скрытых цитат, но и в более широких слоях текста. Это означает, что интертекстуальный уровень прочтения текста следует расширить за счет *интерконтекстуального уровня*¹, и, таким образом, восприятие иноязычного текста должно осуществляться с учетом тех контекстов, которые уже представлены, освоены, продуманы и интериоризованы в собственной культуре, т. е. литературный текст прочитывается из перспективы культурной референциальной рамки иноязычного (в нашем случае

¹ О понятии «интерконтекстуальность» см.: [Homscheid: 224ff].

русского) читателя. Речь идет о попытке узнавания своего в чужом, о реинтерпретации иноязычного текста, когда, с одной стороны, свое, т. е. в данном случае произведения русских романистов XIX столетия, подвергается проверке относительно его восприятия австрийским писателем как чужого, а, с другой стороны, музилевский роман прочитывается сквозь призму русского культурного опыта, включается в контекстуальную рамку русской рецепции.

О рецепции Музилом русской культуры и литературы в музилистике сказано пока немного. Чаще всего исследователи ограничивались краткими упоминаниями или проходными замечаниями, связанными с данной темой¹. В отдельных работах рецепция русской литературы XIX в. в творчестве Музиля рассмотрена более подробно, преимущественно в связи с творчеством Достоевского². В статье Д. Иеля Ульрих, герой музилевского романа, сравнивается с князем Мышкиным, при этом исследователь приходит, на наш взгляд, к упрощенному выводу, в соответствии с ко-

торым «Человек без свойств» предстает как «одноголосый» (“à une voix”), в духе теории М.М. Бахтина, роман, в то время как «Идиот» Достоевского определяется как «многоголосое» (“multivocalisme”), т. е. «полифоническое» произведение [Iehl: 189]. В. Фельд в своей статье подробно описывает продуктивную рецепцию Музилом произведений Достоевского [Feld]. Й. Штруц проводит сопоставление музилевского романа с «Бесами» Достоевского, опираясь при этом на чисто типологический подход [Strutz]. И, наконец, Ф. Шарден посвящает целую главу сравнению Музиля с Достоевским в контексте исследования отношения австрийского писателя к европейской литературе и философии [Chardin: 73–92].

Следует отметить, что знакомство Музиля с русской литературой было достаточно широким. Это касалось прежде всего произведений Достоевского («Преступление и наказание», «Двойник», «Вечный муж», «Братья Карамазовы», «Подросток», «Идиот», «Дневник писателя») и Л. Толстого («Анна Карени-

¹ Б. Пайк указывает на круг чтения Музиля, в который входили произведения Достоевского, Гоголя и Толстого и сопоставляет «взгляд на историю» в «Человеке без свойств» и в «Войне и мире». См.: [Pike: 135]. В. Шрамль в «кошунственной» речи Арнхайма, одного из персонажей музилевского романа, «которую он в избытке чувств адресует непосредственно Богу», видит аллюзию на «Легенду о Великом инквизиторе» Достоевского. По поводу дневниковой записи Музиля (1934) о чтении им «Войны и мира» исследователь приходит к мысли, что «взгляд Толстого на исторические события <...> напоминает размышления Музиля о “законе больших чисел”». См.: [Schraml: 213; 303].

² См. обзор исследовательской литературы в публикации: [Киселева].

на», «Воскресение», «Война и мир», «Детство. Отрочество. Юность»). Гоголя как автора «Мертвых душ» Музиль упоминает среди писателей, которые дали его поколению «духовное воспитание» [Musil 1978a: 1429]. Сильное впечатление оказало на австрийского писателя чтение автобиографической книги М. Горького «В людях» [Musil 1983: 313].

В работах по рецептивной эстетике не раз обращали внимание на то, что восприятие русской литературы в немецкоязычном культурном пространстве было связано с влиянием заранее сложившегося образа этой литературы и «образа русского» в целом. При этом значительную роль играли так называемые культурные посредники, как это показывает, например, хорошо изученное значение Д. Мережковского как посредника русской литературы для Т. Манна [Golik]. Подобную контекстуализацию при исследовании рецепционных процессов необходимо учитывать. Русская культура в общем и целом на рубеже веков воспринималась под знаком экзотического, ее зачастую характеризовали как выражение «загадочной славянской души», как явление, чуждое западному человеку, не затрагивавшее его лично, но вызывавшее определенный интерес.

Музиль, в отличие, например, от Т. Манна или Г. Гессе, не писал статей и рецензий о русской литературе. Однако уже на основе его дневниковых записей и отдельных замечаний в его эссеистических и художествен-

ных текстах можно утверждать, что австрийский писатель целенаправленно выступал против традиции приспособления русской литературы к клише западного культурного сознания. В своей театральной рецензии «Послесловие к Московскому Художественному театру» (1921) он в связи с восприятием русского театра и «московской труппы» со стороны немецкой публики отмечал:

«Их хвалят, пользуясь старыми замшелыми пошлыми словами, чувствуя при этом, что похвалы бьют мимо цели, и прибегают к спасительной экзотике; считают ее похвалой, на самом же деле, почти того не сознавая, вызывают в умах *reservatio mentalis*. Это приводит к деградации переживания до чисто эстетического уровня, проблемы жизни превращаются в болтовню о проблемах. Экзотикой тут именовали “русское” или “их реалистическое театральное искусство”. С самого начала – это не составляет для писателя никакого труда – я предостерегал от этих двух заблуждений, стоящих на пути подлинного понимания. Московские актеры не стремятся играть реалистически, их спектакли – произведения искусства, и именно по этой причине они принадлежат не России, а Европе» [Музиль 1999: 320–321].

В романе «Человек без свойств» возникают отсылки к произведениям Достоевского и Л. Толстого, причем цитаты из этих авторов вкладываются в уста романских персонажей, что, как считает Х. Бернауэр, «карикатурно

обесценивает их прочтение» [Bernauer: 34f]. Это имеет место, например, в сцене разговора немецкого промышленника Арнхайма и Диотимы, жены австрийского дипломата, разговора, обретающего характер объяснения в любви:

«Диотима с ее тактом нашла и для этого верные слова. Однажды в такое мгновение она напомнила о том, что уже великий Достоевский установил связь между любовью, идиотизмом и внутренней святостью, но тем не менее нынешние люди, за которыми нет его благочестивой России, нуждаются, видимо, в каком-то особом предварительном освобождении, чтобы осуществить эту мысль» [Музиль 1984а: 576]¹.

Иначе представлены отклики Музиля на русскую литературу в его дневниках. В 1911 г. он отмечает свое читательское впечатление от «Анны Карениной», обращая внимание на особенности манеры письма Толстого:

«Анна Каренина ... Человек никогда не выглядит как-то, но всегда другой замечает, как он выглядит.

Настолько строго, что о руках Каренина говорится как о грубых и костлявых, когда их рассматривает Анна, и как о мягких и белых, когда это делает Лидия Ивановна... Так возникает сильное впечатление об одновременности существования разных мировосприятий, причем без какого-либо нажима; видишь, например, как выглядит Анна, когда ее воспринимают благожелательно и когда – неблагоприятно» [Musil 1983: 243].

В 1920-е гг., когда Музиль работал над «Человеком без свойств», он, казалось, стремился к тому, чтобы добиться в своем произведении этого «многоголосья», впечатления «об одновременности существования разных мировосприятий», при этом примечательным образом открывая для себя стремление к полифоничности не у Достоевского, а у Толстого. Музиль проявлял интерес и к анализу процессов рецепции классической литературы. В «Человеке без свойств» главный герой Ульрих отмечает «заносчивость юности, для которой величайшие умы на то и нужны, чтобы пользоваться ими по своему усмотрению» [Музиль 1984а: 81]. Музиль описывает здесь

¹ И «мыслительное наследие» Л. Толстого представлено в романе в цитации персонажа, обрисованного отчетливо сатирически. Речь идет о моралисте и проповеднике Линднере, который использует «живые мысли» Толстого для своего свода мертвых знаний, для своего учения, которое исчерпывается в банальных общих местах и мелочной тирании «добродетельного человека»: «У Петера уже давно сложилось крайне неблагоприятное представление о философии, но теперь отец вызвал у него неприятные воспоминания и о литературе, продолжив: – Писатель Толстой тоже говорит, что умеренность – это первая ступень к свободе. У человека много рабских страстей, и для успешной борьбы со всеми ими надо начинать с самых элементарных – чревоугодия, праздности и чувственности». [Музиль 1984б: 434].

и свою творческую юность, собственное восприятие культурной традиции, причем очень точно обозначая важную особенность этой стадии становления художника: «Настолько сильнее в юности было стремление светить самим, чем стремление видеть при свете» [Музиль 1984а: 82]. В своих набросках к эссе «Кризис романа» (1931) Музиль обращает внимание на исследование «процесса чтения» – «не с точки зрения элементарной психологии, а как социального феномена», и подчеркивает при этом:

«Первое знакомство с Достое[вским]. Я тогда с “пылом” пропускал мимо себя все, что меня сразу не затрагивало. Много я не понял, не зная вообще, моя ли это слабость или недостаток перевода. / Спустя несколько лет <...> читаешь все это “по-новому”. Что в этом случае происходит?» [Musil 1978а: 1409].

При описании своих читательских впечатлений Музиль постоянно обращался к Достоевскому. В обзоре «Литературная хроника» (1914) он размышлял о том, как усваивается молодым читателем творчество его литературных предшественников:

«Что остается от книг? Воспоминание. Когда эта банальная мысль пришла мне в голову, я был потрясен. То, что мы, вспоминая, можем сказать о них, этот узко ограниченный туман полупросветленной неизреченности: ... Все, что я в данное мгновение знаю о Раскольникове, это сознание чудовищного

потрясения. Ничего более. Все кануло в опьянение прочитанной напролет июньской ночи... <...> Что остается от искусства? Мы остаемся... Немногочисленные и неточные детали; случайные биографические факты читателя; знание об огромном потрясении, которое никогда более не вернется в таком виде; все это не является решающим. Главное: остаемся мы, претерпевшие изменение» [Musil 1978b: 1460f].

При этом обращение Музиля к философско-художественным системам русских авторов в первую очередь означало для него поиски опоры в своем отношении к искусству как к «лаборатории морали». В незавершенной статье «Поэт и это время. Или: Поэт и его время» (1921– 1922) Музиль по поводу Бодлера, но и касаясь Достоевского и Толстого, замечает: «Главное, что искусство не является чем-то чисто теоретическим, словно оно – обособленное царство, а что оно является формой жизни, *человеческим* воплощением, ростом» [Musil 1978а: 1351]. Бросается в глаза, особенно при сравнении с другими авторами, тот факт, что Музиль никогда не пытался противопоставить Толстого Достоевскому. Для него оба писателя являют своим творчеством то, что Музиль в статье «Европейство, война, немечество» (1914) назвал «борьбой за высшую человеческую сущность» [Musil 1978а: 1021]. В Толстом и Достоевском Музиль обнаруживает схождения с его собственными творческими

устремлениями (при всем отличии в художественной форме), а именно, речь идет об изображении человеческого характера в литературе. В 1910 г. он отмечает по поводу «Анны Карениной»:

«Представляется почти фокусом, но весьма ошеломляющим, то, как Толстой избавляет счастливого посредственного человека – Катю, Левина, Облонского – от похожести на персонажей альманахов для семейного чтения: не умалчивая о некоторых смешных или недобрых побочных движениях души, напр., Облонский приходит от Каренина, тронутый до слез, и счастлив, что совершил доброе дело, и одновременно он счастлив от той шутки, которая приходит ему в голову: в чем разница между мной, приносящим мир в этот дом, и фельдмаршалом, или иначе – он [Толстой – А. Б.] вообще видит своих людей как смесь доброго и злого или смешного» [Musil 1983: 243].

В главном персонаже наиболее личной драмы Л. Толстого «И свет во тьме светит» (опубл. 1912) Музиль в своей статье («Эпилог к Моисси», 1921) видит «неврастеника доброты», человека,

«который не может выносить несправедливость в мире и одновременно не может принять правильного решения. <...> Такие натуры не являются врачами, они – кричащие голоса страдающего человечества; сила их заключается не в том, чтобы следовать до конца своим идеям, а как раз в их бессилии.

Отсюда и то полное неприятие, с которым сталкивается Толстой у многих людей, в которых живет западная духовная традиция» [Musil 1978b: 1498f].

Столкновение двух внутренних голосов в душе героя Толстого соотносится с музильской идеей «бессвойственности» личности, с его критикой идеологических и этических систем, которые основываются на представлении о константном характере индивида, с его критикой «статической» морали.

Толстой записал в 1898 г. в дневнике:

«Одно из величайших заблуждений при суждениях о человеке в том, что мы называем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, а человек есть все: все возможности, есть текучее вещество» [Толстой: 458].

Это представление о характере Музиль мог встретить и в романах Толстого. Так, в набросках к эссе «Национализм. Интернационализм» (1919–1920) он пишет:

«Человек не добр, если его просто освободить от различных видов ярма – от кайзеризма, милитаризма, капитализма и т. д. Однако он и не зол, он представляет собой текучую массу, которая подлежит формовке» [Musil: 1978a: 1348].

Музиль считал, что искусство может развиваться лишь на пути отказа от цельного характера как основы для литературного об-

раза, он видел подтверждение этому в произведениях Толстого, Достоевского и Ибсена. Искусство учит сомнению, поискам особой, «динамической» морали. Герои Толстого и Достоевского не соответствуют ни идеальному образу мира, ни рационалистическим представлениям о действительности, базирующимся на позитивистской модели. Проблема «Характерологии и поэзии» (так называется фрагмент эссе, написанный, вероятно, в 1926 г.) – это проблема, постоянно занимающая писателя. Музиль полагал, что лишь разрушение жесткой характерологической схемы может привести к тому, чтобы разрешить в его романе те философско-этические проблемы, которые – как он считал – не смогла разрешить литература XIX столетия.

В конце жизни Музиль вновь возвращается к этической позиции Толстого (любопытны многочисленные выписки из «Воскресения», которые он делает в своем дневнике). Писатель размышляет о взаимоотношении искусства и морали в своем произведении:

«Мораль Толстого, по отношению ко мне. <...> Мораль “Воскресения” не безупречна, он теоретически мыслит даже менее остро, чем обычно. Я считаю свое понимание проблемы оправданным продолжением (любовь к ближнему и т. д.). Но: он не ищет никакой теории, он ищет ответ на вопросы, которые его потрясают!! Это человеческое увлекает людей, даже если они не склонны к подобного рода

размышлениям. И, собственно, все равно, являются ли эти размышления более или менее правильными. / Опасность для меня: застрять в теории. Возвращайся постоянно к тому, что привело тебя к этим теоретическим вспомогательным исследованиям!» [Musil 1983: 863f].

Толстой и Достоевский («моя юношеская любовь») [Musil 1981: 1384] оказывали на Музиля влияние не в том смысле, что он стремился перенять их этико-моральную систему. Оба автора представляли для Музиля скорее «космос поэзии, воплощенной в форму» [Musil 1978b: 1480], как писал он в театральной рецензии «Московский Художественный театр» (1921). Эта рецензия была написана как отклик на постановки пьес Толстого, Чехова и Горького и инсценировку романа Достоевского «Братья Карамазовы». Музиль писал, что художественное произведение как «внутренняя тотальность» возникает лишь тогда, «когда душа художника полностью исчерпала себя в произведении. <...> Ибо тот, кто является художником, а не болтуном, не облекает в форму свои идеи, а в единичной идее воплощает свой образ мира, свое стремление в мир и мировую волю» [Musil 1978b: 1479].

Анализ восприятия русской литературы, ее активной рецепции в творчестве Музиля приближает нас к пониманию этико-эстетических позиций австрийского писателя. При этом процессу постижения поэтиче-

ской и поэтологической инакости (alterity) музиевского романа в существенной мере способствует интерконтекстуальная читательская перспектива. Ведь иноязычная, инокультурная (в нашем случае – русская) рецепция создаваемых Музилом ситуаций, образов мысли, характеров отчетливо управляется смысловыми контекстами, известными читателю из своей литературы. При этом речь не идет об обращении ко всему обширному комплексу культурных контекстов, которые в той или иной степени формируют литературный горизонт ожидания русских реципиентов. Интерконтекстуальность связана прежде всего с теми литературными фактами, которые были известны Музилю (Достоевский, Толстой, возможно – Гончаров) и которые служат для русского читателя как определенная опора для понимания и трактовки «Человека без свойств», как своеобразные рецепционные проекции и актуализируемые контексты.

Первым текстом, который при обращении к роману Музиля возникает у русского читателя в сознании как поэтологический контекст, несомненно, является гончаровский «Обломов» (1857). В четырехчастном романе Гончарова, описывающем судьбу и гибель заглавного персонажа, чья душа была «хрустальная, прозрачная» [Гончаров: 362], первая часть, как известно, посвящена одному единственному событию, единственному действию / бездействию: попыткам Обломова проснуться и начать новый день:

«В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов. / Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, гуляющими беспечно по стенам, по потолку, с тою неопределенною задумчивостью, которая показывает, что его ничто не занимает, ничто не тревожит. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока. / Иногда взгляд его помрачался выражением будто усталости или скуки. Но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением не лица только, но и всей души» [Там же: 7].

Гончаров максимально замедляет романное действие, оно практически обращается в не-действие, в отказ от какого-либо действия, как из перспективы главного героя, так и из перспективы движения романного повествования. Русский читатель таким образом подготовлен к бесконечной ретардации повествования в музиевском романном тексте с его постоянными ответвлениями и отступлениями, с его дигрессией, маркирующей «пробуждение» Ульриха и его включение в действие, его вовлечение в «параллельную акцию», в своего рода бездеятельное действие, вопреки своему желанию и поставленной им ранее цели «взять на год отпуск от своей жизни», чтобы «поискать подходящего

применения своим способностям» [Музиль 1984: 72). Обломов, которому в начале романа столько же лет, что и Ульриху, тоже живет в своего рода состоянии «отпуска от жизни»:

«Он несколько лет неумоимо работает над планом, думает, размышляет и ходя, и лежа, и дома, и в людях; то дополняет, то изменяет разные статьи, то возобновляет в памяти придуманное вчера и забытое ночью; а иногда вдруг, как молния, сверкнет новая, неожиданная мысль и закипит в голове – и пойдет работа. / Он не какой-нибудь мелкий исполнитель чужой, готовой мысли; он сам творец и сам исполнитель своих идей. / Он, как встанет утром с постели, после чая ляжет тотчас на диван, подопрет голову рукой и обдумывает, не щадя сил, до тех пор, пока наконец голова утомится от тяжелой работы и когда совесть скажет: довольно сделано сегодня для общего блага» [Гончаров: 54].

Позиция Обломова, его мечты об «истинной жизни», о цельности чувства жизни, в романе конфликтуют с позицией и идеологией его ближайшего друга, Андрея Штольца, человека со свойствами, деятельного человека, который проповедует труд и достижение своих целей как высшую ценность. Обломов задается вопросом:

«Где же идеал жизни, по-твоему? <...> без увлечения, робко спросил он. Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю? Помилуй! – прибавил он смелее. – Да цель всей вашей беготни, страстей,

войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?» [Там же: 142].

Движение мысли главного героя «Человека без свойств», посвятившего себя напряженным поискам «рецепта» правильной жизни для общего блага, движение в сторону реализации идеи «иного состояния», некоего контемплативно-мистического, протяженного и «покойного» пребывания в обретенном индивидуальном «раю», эта своеобразная философско-утопическая констелляция, занимающая в пространстве музильевского романа значительное место, в контексте обломовского «плана» попадает в поле критического восприятия со стороны читателя.

Двух романских персонажей, Обломова и Штольца как представителей двух жизненных позиций, двух жизненных установок – созерцательной, отказывающейся от деятельности, и позиции, ставящей на активную, деятельную, предпринимательскую жизнь, – русский читатель «Человека без свойств» соотносит с противостоящими друг другу Ульрихом и Арнхаймом, воплощениями двух модусов жизни, двух видов приложения духовного и душевного потенциала. Роман Гончарова написан в середине XIX в., и все же этот текст – при всем реалистическом изображении частной и социальной жизни того времени – не может быть отнесен к жанру социального романа. Не предстает

он и как воспитательный роман, роман развития, хотя в нем кратко повествуется о годах становления обоих героев. Скорее речь в этом случае идет о романе сознания, повествовательный мир которого возникает не на основе «подражания природе», изображения и анализа социальных состояний, а именно из оппозиции двух лежащих в основе романа модусов отношения к жизни, т. е. двух жизненных формул. Поиски «иной жизни», «иного состояния», созерцательного присвоения жизненной гармонии и ее длящегося состояния у Ильи Ильича сопряжены с другой моделью присвоения и с иным социально-историческим и национальным контекстом, чем у Музиля, однако наивысшая ценность этого желанного состояния для австрийского писателя неоспорима, как неоспоримой представляется и безнадежность его обретения – связанная также с деградацией личности, с опасностью, о которой Музиль упоминает в своих ранних текстах¹. Жизненный принцип Андрея Штольца, который у Музиля воплощен в фигуре Арнхайма, а именно принцип действия, деяния, внешнего движения,

приносит – при всем различии социальных и исторических контекстов в «реальности» – благосостояние, положительно воздействующее вовне устройство приватной жизни, однако одновременно препятствует высшему счастью.

Эта концепция обнаруживает связь с другой моделью деятельной истории, о которой размышляет герой «Записок из подполья» (1864) Достоевского:

«Попробуйте же бросить взгляд на историю человечества; ну, что вы увидите? Величественно? <...> Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно: дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались, – согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одного только нельзя сказать, – что благо-разумно» [Достоевский: 472–473].

«Происходит все то же»,² и это почти кафковское желание «вырваться из рядов убийц» [Кафка: 463] приводит героя Достоевского

¹ Запись в дневнике Музиля от 12.03.1902 г.: «Представление об иной жизни. Сродни эротическому видению... Я ощутил, что полностью отвернулся бы от жизни и целиком обратился бы к этому видению, – потому что жизнь не в состоянии предложить мне что-либо равноценное. Но в тот же момент, когда мои чувства пребывали под властью видения за высокой оградой этого сада, – он уже представился мне как парк, примыкающий к сумасшедшему дому» [Musil 1983: 17].

² Таков заголовок второй, наиболее объемной части музильевского романа.

к мыслям о его собственной «бессвойственности»:

«Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель, – существом по преимуществу ограниченным» [Достоевский: 454].

По утверждению В. Фельда, Музиль «хладнокровно изменил этого героя Достоевского на самую малость, чтобы из этого “бесхарактерного” человека из подполья сделать человека без свойств» [Feld: 246]. «Бесхарактерный человек» Достоевского размышляет и о тех вещах, которые связаны с карьерой музильевского героя как инженера и математика, а именно, об абсурдности исчисления действий, против которых он протестует:

«Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически,

вроде таблицы логарифмов, до 108 000, и занесены в календарь <...>. Тогда-то <...> настанут новые экономические отношения, совсем уже готовые и тоже вычисленные с математической точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получаются всевозможные ответы» [Достоевский: 468–469].

Персонаж Достоевского нуждается в «чувстве возможности», во «всевозможных вопросах» столь же сильно, как и персонаж «Человека без свойств». Однако подпольный человек обращается и к вопросу о «правильной жизни», к проблеме результата, возможного достижения определенной цели. Для ищущего человека важна не цель, а путь к цели; отпуск от жизни не должен иметь неизбежного окончания. Достоевский в своих «Записках из подполья» в определенной степени полемизирует с романом Гончарова, при этом его полемика обращается в направлении «идеи жизни как жизни», высказываемой Обломовым, и идеи «вечного труда», утверждаемого Штольцем¹.

«Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно. Но отчего же он до страсти любит тоже разрушение и хаос? <...> Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос <...>»,

¹ О «переключке» «Записок из подполья» с «Обломовым» см.: [Трофимова-Шифф].

что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить создаваемое здание? <...> И, кто знает <...>, может быть, что и вся цель-то на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой непрерывности процесса достижения, иначе сказать – в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то есть формула» [Достоевский: 475–476].

Растерянность Ульриха при достижении – хотя и только помысленном – цели, его выбор движения без достижения результата представляется своего рода формулой главного героя Музиля, однако при этом и поэтологической формулой романа австрийского писателя, романа, открывающегося движению, не находящему конца, романа, в котором продолжается бесконечная работа над тканью текста. Ибо как раз это движение к цели, без возможности или желания достигнуть ее, отчетливо обозримо при чтении романа Музиля на фоне русской литературы, в его интерконтекстуальном сравнении.

Литература

Гончаров, И.А. Обломов / под ред. Б.Ф. Егорова. Л.: Наука, 1987.

Достоевский, Ф.М. Записки из подполья // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 15 тт. Л.: Наука, 1989. Т. 4. С. 452–550.

Кафка, Ф. Дневники 1910–1923 / пер. с нем. Е.А. Кацевой. СПб.: Симпозиум, 1999.

Киселева, М.В. Рецепция Р. Музилом творчества Достоевского: русский, немецкий, австрийский, французский, английский и американский исследовательские подходы // Достоевский: Материалы и исследования / под ред. К.А. Баршта, Н.Ф. Будановой. СПб.: Нестор-История, 2013. Т. 20. С. 370–388.

Музиль, Р. Малая проза: Избранные произведения. В 2 тт. / пер. с нем. А Карельского, сост. Е. Кацева. М.: Канонпресс-Ц, 1999. Т. 2.

Музиль, Р. Человек без свойств. Книга первая / пер. с нем. С.К. Апта. М.: Художественная литература, 1984.

Толстой, Л.Н. Полн. собр. соч. В 90 тт. / подготовка текста и комментарии Н. С. Родионова. М.–Л.: Гослитиздат, 1953. Т. 53.

Трофимова-Шифф, Т.Б. «И заставили его писать записки...» (К теме «Ф.М. Достоевский и И.А. Гончаров») // Достоевский: Материалы и исследования / под ред. Баршта К. А., Будановой Н. Ф. СПб.: Нестор-История, 2019. Т. 22. С. 208–217.

Bernauer, H. (2007). *Zeitungslektüre im «Mann ohne Eigenschaften»*. Paderborn: Fink.

Chardin, P. (1998). *Musil et la littérature européenne*. Paris : PUF.

Feld, W. (1987/88). *Die Bedeutung der Reflexion für Musil: Am Beispiel seiner Auseinandersetzung mit Dostojewskij*. *Musil-Forum*, 13/14, 241–256.

Golik, I. (1976). *Thomas Mann, Merežkovskij und die russische Literatur*. *Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität*

Jena. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe, 25, 339–343.

Iehl, D. (1974). *Le prince Michkine, Karl Bühl, Ulrich ou de quelques qualités de héros sans qualités*. *Études germaniques*, 29/2, 179–191.

Musil, R. (1981). Briefe 1901–1942. In 2 Bdn. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1981. Bd. I.

Musil, R. (1978a). *Gesammelte Werke* in 9 Bdn. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, Bd. 8.

Musil, R. (1978b). *Gesammelte Werke* in 9 Bdn. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, Bd. 9.

Musil, R. (1983). *Tagebücher*. In 2 Bdn. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, Bd. I.

Pike, B. (1961). *Robert Musil. An introduction to his work*. Ithaca: Cornell University Press.

Schraml, W. (1994). *Relativismus und Anthropologie. Studien zum Werk Robert Musils und zur Literatur der 20er Jahre*. München: W. Fink.

Strutz, J. (1994). Dostojewkis „Dämonen“ und Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“. In A.W. Belobratow, & A.I. Žerebin (Eds.), *Dostojewskij und die russische Literatur in Österreich seit der Jahrhundertwende*. St. Petersburg: FANTAKT, 225–239.

Utz, P. (2007). *Anders gesagt – autrement dit – in other words. Übersetzt gelesen: Hoffmann, Fontane, Kafka, Musil*. München: Hanser.

References

Bernauer, H. (2007). *Zeitungslektüre im Mann ohne Eigenschaften* [Newspaper reading in Man without Qualities]. Paderborn: Fink.

Chardin, P. (1998). *Musil et la littérature européenne* [Musil and European literature]. Paris: PUF.

Dostoevsky, F.M. (1989). *Zapiski iz podpol'ya* [Notes from underground]. In F.M. Dostoevsky, *Sobranie sochinenij v 15 t.* [Complete works in 15 vols.] (Vol. 4). Leningrad: Nauka, 452–550.

Feld, W. (1987/88). *Die Bedeutung der Reflexion für Musil: Am Beispiel seiner Auseinandersetzung mit Dostojewskij* [The importance of reflection for Musil: using the example of his engagement with Dostoevsky]. *Musil-Forum*, 13/14, 241–256.

Golik, I. (1976). *Thomas Mann, Merežkovskij und die russische Literatur*. [Thomas Mann, Merezhkovsky and Russian literature]. *Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe* [Scientific journal of the Friedrich Schiller University Jena. Sociological and linguistic series], 25, 339–343.

Goncharov, I. A. (1987). *Oblomov* [Oblomov]. Leningrad: Nauka.

Iehl, D. (1974). *Le prince Michkine, Karl Bühl, Ulrich ou de quelques qualités de héros sans qualités* [Prince Myshkin, Karl Bühl, Ulrich or some qualities of heroes without qualities]. *Études germaniques*, 29/2, 179–191.

Kafka, F. (1999). *Tagebücher* [Diaries] (E.A. Katseva, Trans.). St. Petersburg: Symposium.

Kisseleva, M.V. (2013). *Retseptsiya R. Muzilem tvorcestva Dostoyevskogo: russkiy, nemetskiy, avstriyskiy, frantsuzskiy, angliyskiy i amerikanskiy issledovatel'skiye podkhody*

[Musil's reception of Dostoevsky's work: Russian, German, Austrian, French, English, and American approaches]. In K.A. Barsht, & N.F. Budanova (Eds.), *Dostoevsky: materialy i issledovaniya*. [Dostoevsky: materials and studies] (Vol.20). St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 370–388.

Musil, R. (1981). *Briefe 1901–1942. In 2 Bdn.* [Letters 1901–1942. In 2 vols.] (Vol. 1). Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.

Musil R. (1984). *Chelovek bez svoystv. Kniga pervaya* [The man without qualities. Book one] (S. K. Apt, Trans.). Moscow: Khudoshestvennaya literatura.

Musil, R. (1978a). *Gesammelte Werke in 9 Bdn.* [Collected works in 2 vols.] (Vol. 8). Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.

Musil, R. (1978b). *Gesammelte Werke in 9 Bdn.* [Collected works in 2 vols.] (Vol. 8). Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.

Musil, R. (1999). *Malaya proza: Izbrannye proizvedeniya v 2 t.* [Short prose: Selected works in 2 vols.]. Moscow: Kanonpress-C.

Musil, R. (1983). *Tagebücher. In 2 Bd.* [Diaries. In 2 vols.] (Vol. I). Reinbek b. Hamburg: Rowohlt.

Pike, B. (1961). *Robert Musil. An introduction to his work.* Ithaca: Cornell University Press.

Schraml, W. (1994). *Relativismus und Anthropologie. Studien zum Werk Robert Musils und zur Literatur der 20er Jahre* [Relativism and

anthropology. Studies on the work by Robert Musil and the literature of the 1920s]. München: W. Fink.

Strutz, J. (1994). Dostojewkis „Dämonen“ und Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“ [Dostoyevsky's Demons and Musil's Man without Qualities]. In A.W. Belobratow, A.I. Žerebin (Eds.), *Dostojewskij und die russische Literatur in Österreich seit der Jahrhundertwende* [Dostoevsky and Russian literature in Austria since the turn of the century]. St. Petersburg: FANTAKT, 225–239.

Tolstoy, L. N. (1953). *Polnoe sobranie sochinenij v 90 t.* [Completed works in 90 vols.] (Vol. 53). Moscow, Leningrad: Goslitizdat.

Trofimova-Schiff, T. B. (2019). “I zastavljali ego pisat' zapiski...” (K teme “F.M. Dostoevskiy i I.A. Goncharov”) [And forced him to write notes. On the topic of F.M. Dostoevsky and I.A. Goncharov]. In K.A. Barsht, & N.F. Budanova (Eds.), *Dostoevsky: materialy i issledovaniya*. [Dostoevsky: materials and studies] (Vol. 22). St. Petersburg: Nestor-Istoriya, 208–217.

Utz, P. (2007). *Anders gesagt – autrement dit – in other words. Übersetzt gelesen: Hoffmann, Fontane, Kafka, Musil* [Anders gesagt – autrement dit – in other words. Translated reading: Hoffmann, Fontane, Kafka, Musil]. München: Hanser.

INTERCONTEXTUAL READING OF ROBERT MUSIL'S "MAN WITHOUT QUALITIES"

Alexander W. Belobratov, PhD, Associate Professor, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russia); e-mail: austrianlibr@hotmail.com.

Abstract. The analysis of the active reception process, the interaction of “its own” and “alien” seems very fruitful in the study of the epoch-making Robert Musil’s novel “Man without qualities” (1930–1942). The analytical evaluation of the Austrian author’s contact with the “alienness” (in this case, with Russian literary classics) in the form of the discovery of “his own essence” is carried out at the micro-level of individual concepts, expressions, descriptions of characters, and explicit or implicit quotations. The intertextual level of reading the novel expands at the expense of the intercontextual level. Thus, the literary text is read from the foreign (Russian) reader’s cultural referential framework. This means an attempt to recognize the reader’s “own essence” in the “alienness” text, to reinterpret a foreign text, when, on the one hand, the “own essence”, i.e. in this case the work of the 19th century Russian novelists, is subjected to scrutiny in relation to its reception of the Austrian writer as “alien”. On the other hand, Musil’s novel is read through the lens of Russian cultural awareness, and included in the contextual framework of Russian reception, formed by Goncharov’s, Dostoevsky’s, and Leo Tolstoy’s works.

Key words: Robert Musil, Austrian literature, novel, intercontextuality, comparative study, reception.

